

Н. Н. СТРАХОВ О ДОСТОЕВСКОМ

НАБЛЮДЕНИЯ

(Посвящается) Ф. М. Достоевскому)

I

Можешь ли ты рассказать мне сон, который я видел, и сказать, что он значит?

В одну из наших прогулок по Флоренции, когда мы дошли до площади, называемой Piazza della Signoria, и остановились, потому что нам пришлось идти в разные стороны, вы объявили мне с величайшим жаром, что есть в направлении моих мыслей недостаток, который вы ненавидите, презираете и будете преследовать всю свою жизнь. Затем мы крепко пожали друг другу руку и расстались. Знаете ли? Ведь это очень хорошо; ведь это прекрасный случай, лучше которого желать невозможно. В самом деле, вот разговор, совершенно точный и определенный; вот отношение, в котором нет никакой темноты или неясности. Мы нашли точку, на которой расходимся; превосходно! Это вовсе не так часто случается. Обыкновенно разговоры бывают наполнены теми неопределенными поддакиваниями, в которых нет, однако же, настоящего согласия, и теми неясными разногласиями, в которых нет, однако же, настоящего противоречия. Мы же, как видите, дошли до чего-то более правильного. В житейском быту можно согласиться, что худой мир лучше доброй ссоры; но в логике это не совсем так. Нужно *знать* точно и отчетливо, с чем соглашаешься и что отвергаешь. Соглашаться, не зная на что, и отвергать, не зная что, ни в каком случае не похвально. Следовательно, очень хорошо, что мы, кажется, знаем, наконец, в чем мы расходимся. Тем более, что, расходясь с вами в некоторых мыслях, я надеюсь и предлагаю вам никогда вполне не расходиться в жизни, не расходиться, не обращая внимания на логику, даже не пускать всякой логики. Не удовлетворяетесь ли вы такою уступкою с моей стороны?

А впрочем, — помните ли вы хорошенько, в чем было дело? Вы находили во мне несносным и противным мое пристрастие к тому роду доказательств, который называется в логике непрямым доказательством или доведением до нелепости. Вы находили непростительным, что я часто приводил наши рассуждения к выводу, который простейшим образом можно выразить так: *но ведь нельзя же, чтобы дважды два не было четыре*.

Против этой дурной привычки, в которой я чистосердечно сознаюсь, вы приводили мне сильные доводы. Вы говорили, что никто в мире не думает утверждать таких вещей, как *дважды два — три* и *дважды два — пять*, что я впадаю в чрезвычайно смешную наивность, воображая, что кто бы то ни было проповедывает и защищает такие положения, что если и говорится что-нибудь подобное, то с моей стороны странно принимать это совершенно серьезно, так как очевидно люди, которые говорят *дважды два — не четыре*, вовсе не думают сказать именно это, а, без сомнения, разумеют и хотят выразить что-то другое.

Что же? Нужно признаться, все это как нельзя больше справедливо. В самом деле, как бы беспорядочны и ограниченны ни были чьи-нибудь мысли, как бы дурно и фальшиво они ни были выражены, все-таки в них необходимо есть зерно истины, все-таки несправедливо не видеть этого зерна из-за шелухи, которая его покрывает. По самой сущности дела всякая мысль имеет свой повод и свое основание, всякая мысль как широкая

и глубокая, так и мелкая и узкая, движется по одним и тем же логическим законам, и, следовательно, самое грубое заблуждение носит в себе элементы истины. Следовательно, обвинять кого бы то ни было в абсолютной нелепости совершенно несправедливо.

На это, по-видимому, нечего возражать. А между тем помириться на этом я все-таки не могу. Дело не в том, где и насколько в чем заключается истина, а дело в нас с вами. Ваши доводы слишком сильны — явный признак, что мы сражаемся неравным оружием. Очевидно, вы заняли чересчур выгодную позицию, вы успели уйти за неприступные укрепления, в которых всякий безопасен. И в самом деле, посмотрите, кого вы против меня защищаете? Ведь вы защищаете решительно всех; вы приносите меня в жертву каждому, кто только ни вздумает открыть рот. Потому что, что бы он ни сказал и как бы он ни сказал, по-вашему, я обязан непременно понять, что он *хочет* сказать, и не имеет ли этот желаемый смысл какого-нибудь тайного основания. Они, все эти люди, которые могут стать под защиту ваших аргументов, могут говорить *всё*, что им вздумается; от времени до времени они могут утверждать даже и то, что дважды два — не четыре. Я же не смею ничего им возражать; мне сейчас зажмут рот тем резонном, что они хотя и ошиблись, но не хотели ошибиться, хотя и сказали одно, но разумеют совсем другое. Они имеют полное право мне противоречить, как бы точно и ясно я ни выразился, а я должен только соглашаться с ними, как бы темно и неопределенно они ни выражались. Они не стесняются ничем, тогда как я связан по рукам и по ногам. Одним словом, они, как некогда восточные цари, могут грезить все, что им угодно, а я, как их придворные волхвы, под страхом казни, обязан понимать все, что им ни пригрезится, да, пожалуй, еще находить в их снах смысл высокий и пророческий. Остается разве только одно, — чтобы вы возложили на меня обязанность не только понимать, но и отгадывать их сны, как этого требовал от своих волхвов тот древний царь, который однажды забыл свой сон и помнил только, что ему было страшно.

Итак, я требую равенства или, лучше сказать, я обращаю ваше внимание на то, что в республике мысли за всеми нами признаются равные права. При равных правах, вы увидите, что мое положение тоже не без выгод. В самом деле, что бы вы сказали, что бы сказали многие другие, если бы я, пользуясь вашими же [признаниями] уступками, на какую-нибудь горячую речь отвечал бы: «Да, вы совершенно правы; но только под вашими словами нужно разуместь не то, что они значат, не *дважды два — пять*, а нечто совсем другое?»

II

Я должен отдать вам справедливость, что в нашем споре вы попали прямо на больное место да и не мое только, а и многих других. Какое кому дело, о чем мы с вами спорили во Флоренции? Но не я один — ненавистник нелепостей и не вы один снисходительно прощаете их за то, что под ними разумеется. Дело в том, что нелепости в разнообразнейших формах и оттенках являются у нас в чрезвычайном изобилии и что это изобилие, естественно, вызвало отпоры, возбудило реакцию. Часто возбуждала неудовольствие и недоумение ожесточенная полемика, которую у нас так охотно ведут журналы. Одна из самых чистых и явственных струй в том мутном потоке, без сомнения, та, которую я указываю, то есть, с одной стороны, увлечение до *дважды два — пять*, а с другой стороны вражда против всякого *дважды два — не четыре*. Среди многих разделений образовалось, между прочим, в нашей литературе и такое разделение; оно должно было образоваться, и столкновение между двумя его сторонами было неизбежно, и неизбежно будет повторяться.

Попробую пожертвовать обе стороны. С одной стороны, именно с той стороны, на которой вы стоите, — часто молодость, всегда жар, страсть проповедовать, небрежность к форме и ко всякого рода правильности, но зато живые чувства и мысли, нередко талант, иногда гениальные проблески...

С другой стороны — некоторая холодность, привычка к строгой и правильной мысли, отсутствие большого жара проповедовать, но, вместе с тем, часто отсутствие и всякого таланта, молчание самых живых струн. На этой стороне я стоял во время нашего спора и на нее часто становлюсь.

Надеюсь, однако ж, вы отсюда ясно увидите, какой стороне принадлежат мои симпатии. Вот видите, что я знаю, что делаю. Конечно, я сочувствую первой стороне, но между тем волей-неволей я становлюсь на второй. Такая уж моя несчастная судьба, а что всего хуже — не моя одна, но и многих, весьма многих других.

Разве хорош человек? Разве мы можем смело отвергать его гнусность? Едва ли! Каких бы мнений мы ни держались, когда дело идет об этом вопросе, в нас невольно отзвучат глубокие струны, с младенчества настроенные известным образом. Все мы воспитаны на Библии, все мы христиане, вольно или невольно, сознательно или бессознательно. Идеал прекрасного человека, указанный христианством, не умер и не может умереть в нашей душе; он навсегда сросся с нею. И потому, когда перед нами развернут картину современного человечества и спросят нас: хорош ли человек, мы найдем в себе тотчас решительный ответ: «Нет, гнусен до последней степени!»

〈Рукопись обрывается. На следующей странице:〉

Наконец, остается еще одна ступень, и люди оппозиции нашего времени не раз преступали ее, может быть, сами не замечая или невольно увлекаясь. Остается сказать еще одно: я не верю ни в философию, ни в экономику, и вообще ни в одну сторону цивилизации, потому, что я не верю в человека:

За человека страшно мне!

〈Рукопись обрывается. На обороте:〉

Непрямое, неясное, неопределенное отношение к делу у нас очень обыкновенно. Даже в тех случаях, где оно необходимо требуется, мы умеем избежать его. У нас очень много лицемерия, свойственного людям хитрым, но неумным. Мы всегда готовы пользоваться умом других вместо того, чтобы яснее высказать свое мнение.

〈Пробел в несколько строк. За ним текст:〉

Могу вас уверить, что нелепость есть дело жестокое. Не думайте, что переносить ее так легко; нет, она трудно переваривается.

〈Далее следует, на новой странице, следующий текст:〉

НАБЛЮДЕНИЯ

Посвящается Ф. М. Достоевскому

I

Может быть, прочитавши заглавие моих заметок, вы подумаете, что я выбрал для них название слишком общее, слишком малозначительное и скромно-неопределенное; в таком случае, спешу объяснить вам, что я придаю ему очень серьезный смысл и считаю его надлежащим и единственным заглавием того, что им обозначено. Вероятно и вы и многие другие заме-

тили, что в умственной сфере мы чем дальше, тем больше превращаемся в наблюдателей, в простых наблюдателей, которые сами не могут, не имеют достаточного повода принять участие в том, что делается, а только созерцают и стараются понять сущую жизнь.

Вот мое первое наблюдение, и с него я начну свои заметки. Наблюдательное настроение ума так часто встречается, так быстро усиливается, что нельзя не сделать его тоже предметом наблюдения и внимания.

Наблюдательное настроение противоположно *деятельному*. Наблюдатель есть зритель, со стороны смотрящий на драму; деятель есть один из участников драмы, одно из действующих лиц.

Если сравнить, как это часто делается, мир с театром, со сценою, на которой происходит драма, то я могу точно выразить свою мысль, сказавши, что в настоящее время все больше и больше является лиц, которые бросают сцену и участие в драме, отходят в сторону и начинают наблюдать тех, кто остался на сцене. Таким образом, мир мало-помалу получает то странное, резкое разделение, которое существует в театральной зале: одни играют, другие смотрят.

Прежде этого не было или, по крайней мере, едва ли когда-нибудь было в такой степени, как это замечается ныне. Может быть, у нас, русских, расположение быть простым зрителем даже сильнее, чем у других. Но совершенно ясно, что это расположение тесно связано с теми взглядами, с теми учениями, которые так распространены вообще в наше время. Больше, чем когда-нибудь, мы умеем теперь *глубоко* понимать вещи. Во всем, что ни случается, мы видим обнаружение внутренних сил и далеких влияний. Мы верим в таинственные и неодолимые силы жизни, мы убедились до конца, что история совершается *с необходимостью*, что все в ней тесно связано и неизбежно развивается, растет и умирает, падает и возвышается.

Если же так, если раз мы с полной ясностью сознали этот взгляд, то спрашивается, у кого же достанет охоты участвовать в этой слепой, неумолимой драме? Естественно, что каждый, кто ее понял, постарается стать в сторону, постарается уклониться от нее и сохранить свободный взгляд, свободное присутствие духа.

〈Рукопись обрывается〉

Автограф. ЦНБ АН УССР. I.5236.

Анализ этой рукописи Н. Н. Страхова см. в работе Л. М. Розенблюм «Творческие дневники Достоевского». — «Лит. наследство», т. 83, стр. 17—23.

Среди бумаг Страхова в том же архиве находятся еще следующие фрагменты его рукописей, связанные с Достоевским (шифры: I.5236 и I.5239a):

1

ЗАМЕТКИ О НАШЕМ ПРОСВЕЩЕНИИ

(Из письма к Ф. М. Достоевскому)

Иногда вы упрекали меня за слишком печальный взгляд на умственное движение, совершающееся в России. Хочу попробовать здесь, на свободе, определеннее изложить вам те сомнения и горевания, которые для вашей твердой веры (исповеданной вами и в последнем [вашем] романе, в «Бесах») казались чем-то непонятным и почти кошунственным. Действительно, это горькие и печальные мысли. Но если уже так решено судьбою, что вопрос о духовной самобытности русского народа давно сделался существенным делом для [людей понимающих] мыслящих русских людей, то

〈Нижняя часть листа отрезана〉

2

ПИСЬМО К Ф. М. ДОСТ<ОЕВСКОМУ>

На вас лежит обязанность.

Не стану разбирать этих бессвязных, тупых

Для кого? Не для вас же. Кто станет сравнивать и винить?

Перед кем?

Лучше поговорим о деле.

Это люди, сбитые с толку.

У них на аршин образования, культуры.

Веры нет; глубочайшее неверие.

Он думает, что сербы дадут нам идеи. Какова должна быть пустота в голове, какое отсутствие идей!

Прямо выскажу свое негодование — не для публики; но вы меня поймете.

Спорить — унижительно.

3

<СМЕРТЬ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО...>

Смерть Ф. М. Достоевского — великое горе, огромная утрата для русской литературы. Угасла необыкновенная умственная и художественная сила, и притом угасла в полном разгаре своей деятельности. Невозможно было не изумляться и не радоваться этой деятельности. Никто еще из наших крупных писателей не писал так много. Его романы следовали непрерывной чередой, но, кроме того, он издавал по временам журнал, которого сам был единственным сотрудником. И все это нимало не отзывалось *многописанием*; страшная умственная работа вкладывалась в каждый роман, в каждый номер «Дневника». Было, конечно, нечто неровное и волнующее в этих трудах, но оно было и в самых первых его работах. Зато же и удачные страницы и главы достигали удивительной высоты. В этом человеке был истинно неисчерпаемый запас сил, было что-то загадочное, не слагавшееся в твердые формы. От Достоевского постоянно можно было ожидать каких-то откровений, новых и новых мыслей и образов.

И большой успех награждал в последние годы эту деятельность. Число читателей и почитателей покойного быстро росло и было огромное. Глубокая серьезность тем, которые он брал в своих романах, глубокая искренность «Дневника» действовали неотразимо. В последние годы, как он сам сознавался, ему стало труднее писать, но зато он приобрел стариковскую уверенность и спокойствие в писании и выступал с настоящим авторитетным тоном, простым и твердым. Впечатление было могущественное. Его «Дневник» и по своему внутреннему весу, и по внешнему влиянию на читателей, конечно, равнялся не одному, а, пожалуй, нескольким взятым вместе большим журналам со всеми их редакциями и усилиями. Его романы всегда стояли в первом ряду художественных произведений текущей литературы, были выдающимися ее явлениями. Так что если вспомним притом размеры этой деятельности, то можно сказать, что с Достоевским сошла в могилу большая доля, чуть не половина наличной литературы.

Но, конечно, всего больше наша утрата по тому смыслу, по тому содержанию, которое воплощал в себе Достоевский. Он вовсе не был поклонником минуты, никогда не плыл по ветру, а всегда был писателем независимым, свободно следовал своим мыслям. И он не только не потворствовал нашим модным направлениям, а напротив, объявил себя их врагом, открыто преклонялся перед началами, которые для нашей интеллигенции только «соблазн и безумие». Свою преданность искусству, свою любовь к народным началам, свое отвращение к Европе, свою веру в бессмертие души, свою религиозность — все это он смело проповедовал.

4

ДЛЯ СЕБЯ

Во все время, когда я писал воспоминания о Достоевском, я чувствовал приступы того отвращения, которое он часто возбуждал во мне и при жизни и по смерти; я должен был прогонять от себя это отвращение, побеждать его более добрыми чувствами, памятью его достоинств и той цели, для которой пишу. *Для себя* мне хочется, однако, формулировать ясно и точно это отвращение и стать выше его ясным сознанием.

«Этот текст, представляющий собой, по-видимому, предостережительный вариант известных строк из письма Страхова к Л. Н. Толстому (26 ноября 1883 г.), был опубликован (без заголовка «Для себя») в информационной заметке А. Наварецкого «Архив Страхова», — «Лит. газета», 1936, № 5, 26 января.»